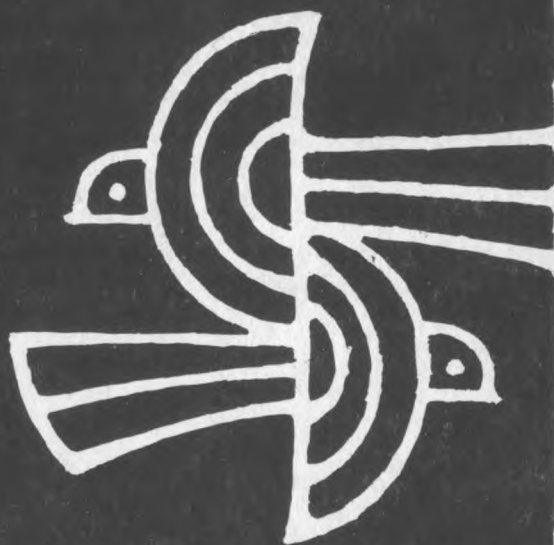


АРКАДИЙ
ПАХОМОВ

...В такие времена



КНИГА
СТИХОВ



АРКАДИЙ ПАХОМОВ



...В такие времена

КНИГА
СТИХОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОМЕТЕЙ”
МГПИ им. В. И. Ленина
Москва — 1989

Издание осуществлено за счет средств автора

Пахомов А. Д. В такие времена. Стихи. М.: Прометей, 1989, 104 стр.
МГПИ им. В. И. Ленина. 1989.

Послесловие В. Алейникова
Художник Стас Исаев

Литературно-художественное агентство „ТОЗА”

Экспериментальное творческое объединение „Комитет литераторов”

В 4702010202 – 83
183 /2/ – 89

© Аркадий Дмитриевич Пахомов, 1989

ДОМ

Я скажу: на холме был дом,
Под холмом протекал ручей,
А еще я скажу потом,
Что и дом, и ручей — ничей.

А еще я скажу, что луна
По ночам валила плетень,
А еще вам полезно знать,
Что была у плетня тень.

А теперь вам следует сесть
В электричку в зеленой шали,
Электричка такая есть
На одном московском вокзале.

А затем вам надо сойти
Возле поля зубчатой ржи,
Этот дом на холме найти,
Расположиться и жить.

Вы должны завести крольчат,
Двух крольчат — да, вот именно двух,
Вечерами смотреть на закат
И думать, обязательно вслух.

Да еще, но не между прочим,
Не забудьте, пожалуйста, среди прочих хлопот,
Я вас очень прошу, очень —
Разрешайте крольчатам бегать к вам в огород.

ДОРОГА

Ушла в себя дорога, залегла
В пучки травы сухой, в шипучий гравий
И в корни, разоренные дотла
Колесами в расхристанной оправе.

Ушла в себя дорога – в дальний путь,
Ведомая неведомым порывом,
Успевшая чуть выгнуться, свернуть
И набок лечь у самого обрыва.

И выпрямиться, вытянуться в нить,
И продолжаться гладко и покато,
Не упуская вдруг над речкой взмыть
И обернуться мостиком горбатым

Затем, чтоб тут же, в следующий миг
Расположиться на опушке леса
И под его развернутым навесом
Забиться и не помнить дней своих.

х х х

Допоздна не уснуть, до звезды,
до блуждающей балерины,
что справляет свои именины
на площадке озерной воды,
до звезды.

Допоздна не уснуть, допоздна,
может, утро возьмет на поруки
мои странно чужие мне руки
на пустынной бутылке вина.
Допоздна.

х х х

Любимая, в такие времена,
в такую сучью непогодь и замять,
не дай нам Бог кичиться и лукавить
и выяснять, чья большая вина —

твоя вина, или моя вина,
иль родины злопамятные вины
у нас в крови. Без слез и без запинок
забудь вражду, и да пошлет нам сына
глухая ночь в такие времена...

ПРОХОЖИЙ

Он шел из леса, около осоки,
прохожий молодой в расцвете сил,
шел широко, был грустный и высокий
и потому красивый очень был.

С глазами влажными, свободною прической,
через опушки правильный овал,
где тек сентябрь тягучим спелым воском,
Все шел да шел, травинку все жевал.

Он покидал древесную обитель —
мир вольнодумства с ленью пополам —
прохожий конь, печальный сельский житель,
шагал себе из леса, по делам.

ВЕСЕЛАЯ НОЧЬ

Ю. К.

Ночь, когда петухи поют не на рассвете,
а значительно раньше, считается веселой.

Народная примета

Весела была ночь.
Как в двенадцать часов зазвонили,
закричали, запели,
за-что-там-еще петухи,
зашумели... Откуда?
С Гурзуфа ли, с Ай ли Даниля
ах, как грянули, сволочи,
сколько они чепухи
намололи, сердешные!
Шут с ними, в самом-то деле,
не о них же, разбойниках,
браться писать мне стихи!
Чачу слили во флягу,
вина уже пить не хотели —
не могли, и шабаш, —
потому что поют петухи.

Я скажу тебе так:
я бывал в переделках и знаю,
что меня на мякине,
ты веришь мне, не проведешь,
но когда их друзья
в Севастополе, в Бахчисарае,
в Судакe, черт возьми, подхватили,
то бросило в дрожь.

До сих пор не пойму,
что решил для себя мусульманин,
уточнявший по звездам
маршрут своего корабля,
но ребята с погранки
прожектором, как по команде,
принялись вперекрест
прибрежные жечь тополя.

Наше дело нехитрое:
пить, если пить, — до упора.
Я за друга ручаюсь,
но не был мой друг виноват:
он стакан отодвинул,
шатаясь, прошел коридором
в нашу комнату и,
не вникая в презренный расклад,
прямо в брюках дырявых,
в своих башмаках несурзных,
в куртке — мало сказать,
что дела ее плохи, — плохи, —
словом, рухнул как есть
на кровать мою, с тем чтобы сразу
все забыть и простить,
потому что поют петухи.

Я не тронулся с места,
я понял, как дружно умели,
как они обожали
жить — просто до смертной тоски.
Дай послушаю, думаю,
шут с ними, в самом-то деле!
А они-то и рады —
горланят, поют — дураки.

х х х

Ты вся еще в черновике,
где исправленье неизбежно,
где появляется надежда
и тает жилкой на виске.

Где прошлым даль заволокло,
и очевидны лишь сомненья,
твои глаза, твои движенья
переписать бы набело.

Перечеркать все то, что есть,
переиначить то, что было,
и что давным-давно уплыло,
и то, что было б — бог что весть...

Избавь себя от заблужденья,
от затемнения избавь,
не предоставь себя паденью —
меня паденью предоставь.

Оставь меня.
Пускай расплата
бессмысленней былых расплат —
не виноват, не виновата —
никто ни в чем не виноват.

Не изменяй порядка жизни,
забудь походку, речь, лицо —
живи, не умирай, исчезни —
оставь меня в конце концов.

ПИСЬМО

В. Алейникоу

Еще не знаю я,
найдет ли адресата,
не знаю, где и как
ты, в сущности, живешь, —
но здесь у нас апрель,
а выговор пернатых
в такие дни везде,
я думаю, хорош.

Еще по вечерам
зевнешь на перекрестке,
из парков ветер вдруг
в лицо наверняка
внезапно полыхнет, —
и вспоминаешь жесткий
таврический набег
степного сквозняка.

Еще ты помнишь гнет
доверия Азова
и шалости воды,
и сокровенной лжи
причуды помнишь ты —
и мог бы слово в слово
любой из этих дней
достойно пережить.

Еще по погребам
таинственная плесень,
хранящая, как маг,
дыхание вина,
не истощилась, нет, —
а мир настолько тесен,
что в этих погребах
не обойтись без нас.

Еще мы живы, брат,
ты прав, твердя об этом, —
и время любит нас,
в уста целуя так
и обнимая так,
что надо быть поэтом,
чтоб это оценить
и не попасть впросак.

Еще не в прошлом мы, —
и да пребудут даты,
желанные, как дождь,
как винограда гроздь, —
еще мы победим,
товарищ мой крылатый,
как мог бы ты сказать,
подняв заздравный тост.

ФЛОКСЫ

От флоксов душных ночью
Я задышаться начал,
И утром бить тревогу
Задумала семья,
Их отнесли на кухню,
Чтоб там они стояли
И размышляли вволю
По поводу себя.

А я тогда подумал
О том, что вдруг по дому
Заколыхались тени,
Когда ты, взяв букет,
Его связала крепко
И бережно, как скрипку,
Несла его к калитке,
Что излучал он свет.

Затем я тут же вспомнил,
Как наклонился, обнял,
Как встал я на колени
И опустил глаза
И как потом качались
Вершины долгих сосен,
И начиналась осень,
И что еще сказать...

Потом через крапиву
И влажную купаву
Мы вышли на дорогу,
На заросли ропща,
И тут из ниоткуда,
Из темноты без брода
Простой явился транспорт
В обличье „Москвича”.

Нас усадили рядом.
Колени, локти, пряди —
Все было чуда вроде
И ночь всего поверх.
И флоксы были рады,
Что вместе с нами едут, —
Дышали и касались
И губ твоих, и век...

ФРАГМЕНТ ИЗ ПОЭМЫ „ПУГАЧЕВ”

Посвящается Леониду Губанову

Зимы кипящий чайник,
распаривший уезд.
В снегу, вороньих чарах,
как в рыбьей чешуе,
колени, плечи, локти
холмов и гор крутых
пронизывает оклик
угрюмых часовых.
И твердо знают звери
про ужин и обед,
и путники не верят
ни в ночь, ни в белый свет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУГАЧЕВА В СТАН И ВСТРЕЧА ЕГО С ХЛОПУШЕЙ

В начальных числах чайника
на чешуе плеча
беспечно и отчаянно
качалась каланча.

Хлопуша, хмуро, хлопотно
расхомутив коня,
похмыкивал с холопами
хорунжего ремня.

Когда, дорогу вывернув
изнанкою пурги,
заснеженными ивами
подернулись шаги,

кибитка ночью черною,
вся черная, как жизнь,
лесистую, озерную
проламывала вись.

Нерасторопных косит
Оглобля лучше пик.
Въезжал он в стан раскосый
и пьяный, как калмык.

Хлопуша, уже спешившись,
шугнувши кобелей,
послал к таким-то лешим
всех местных козырей

и, с плеч спугнув тулупище,
с вязанкою вожжей
склонил главу, насупившись,
с учтивостью вождей.

А сам, пригладив бороду,
веселый не к добру,
вступил к степному городу
на вздыбленную грудь.

И, поцелуй изведав,
разбросив кулаки,
как два больших медведя,
обнялись мужики.

И, надвое поломанный
и сваленный вповал,
с Урала и Коломны
мужик молчал и ждал.

Но уж рождалось эхо
сквозь шапки тут и там:
Пугач, Пугач приехал,
Пугач приехал к нам!

Он, крякнувши сурово,
сказал в тулупный пруд:
— Ну, стало быть, здорово
вставайте, что уж тут.

И, прихватив Хлопушу
за кремовый камзол,
пошел, чтобы откусать
вино, и хлеб, и соль.

Всю ночь горели свечи
и плавилось вино,
и вырывались речи
в разбитое окно.

И тени, как туманы,
качали хату, снедь,
и пели атаманы
про волю и про смерть.

И старший, пальцем тыкая
в стакан, орал, как встарь:
— Ну чем же не владыка я,
ну чем я вам нё царь?!

А голытьба на страже
орет, дуря в дым:
— Теперь мы им покажем,
ужо покажем им!

А где-то в дикой буре,
воткнув в пургу штыки,
толкались в Оренбурге
промерзшие полки.

И офицер кудрявый
в лощеных сапогах
скакал за новой славой
на сытых лошадях.

И властно и сурово,
с усмешкой на лице,
представился: „Суворов” —
конвойный офицер.

Он пожалеет после
и в Альпах, и в Крыму,
а нынче в мире сосен
все это ни к чему,

а нынче в жидком тесте
метели, пузырять,
вставала лобным местом
красная заря.

И Русь в дурном веселье
не знала, что ей петь,
но атаманы пели
про волю и про смерть.

1965

ТВОРЧЕСТВО НА КУХНЕ

В. С.

Кран замолчал, шаги и шторы,
И, ритму тишину уча,
Густые пепельные горки
Точил и капал, как свеча.

Озноба правильная плоскость
Сквозь рамы ширилась к дверям,
Сводила тень, рассветным воском,
Суставам обещала ямб.

Но блестящий кафель, лампы спелость
И мебели густой развал
Вели к тому, что он зевал,
А лист бумаги — писчей, белой, —
Желтел и только раздражал.

КРЫМ

Вечер. После дождя.
Черно-бурая пашня,
а за нею, чуть-чуть погода, —
крест и старая башня.

Слева был виноградник,
пашня — справа,
вдоль нее сухие ограды,
речка и переправа.

А над всем этим рос закат,
возвышался плавно и строго,
из него-то, из далека,
вытекала дорога.

На дороге был мягкий иней,
он сгущался, но еле-еле.
Мы несли виноград и дыни
и смеялись, и что-то пели,

и смотрели по сторонам
и вперед на широкое взгорье,
где закатная тишина,
а за всем этим было море.

ТЕРЕМ

Владимиру Алейникову

В той стране, где ветер терпок
от морских сушеных трав,
был построен стройный терем
из гусяного пера,

из камней, волной лощенных,
плавно сглаженных рукой,
терем с башнею смещенной
был единственный такой.

Всё, от стен его кольчужных
до ракушечных основ,
было пеною жемчужной
в нужный час освящено.

Рядом берегом стоящий,
терем легкую волну
мог сдержать, разбить на части
и с округлых плеч стряхнуть.

Отмечая именины
пеньем птиц и бычьих жил,
ветвь рябины, ветвь жасмина
кто-то к башне приложил.

И сказал широким чайкам,
оснащавшим корабли,
чтобы море не качали,
чтобы терем берегли.

КЕРЧЬ

Как это сплошное конкретное лето,
как карточный домик, игрушке под стать,
качается Керчь от жары и от света,
не в силах себя хоть чуть-чуть распознать.

Приятно в глухой первородной теплыни
любить углубленную в улицы тишь,
и удивляться настою полыни
и черепице оранжевых крыш.

В каменных двориках высмотрев сливы,
можно спуститься без всяких хлопот
в пахнущий рыбой, вином и крапивой
старый, всегда перегруженный порт.

Там гениальный и ветренный мастер
расположил среди странных фигур
плоские ящики, бочки и снасти,
грузчиков сонных, когда перекур

и когда ветер лениво-подробный,
вдруг расширяя седой кругозор,
с шумом выходит туда, где свободно
море колышет тяжелый простор.

ШТОРМ

Огромный, начиненный криком,
глухим желанием упасть
и мертвой, мерзлую брусникой
на вкус, на цвет и на попа.

Разрезанный, крошеный, снова
крошащийся.

Весь там, внутри,
переодет, перелицован,
ритмично, как по счету три,
по выдоху и по поклону
себе.

Сам занятый собой.
В себя ушедший, углубленный,
слоеный, выпуклый, живой.

ЧЕРНОМУ МОРЮ

А что случилось? Ничего не случилось.

Из репертуара Э. Горовца

В тяжелых штормовых твоих ночах
Зажата баржа, с краном, а на кране
Горит огонь, шевелится в тумане,
Как в самых лучших, в самых детских снах.

На барже стонет заспанный матрос,
Его мутит, сердешного, с похмелья,
Над пирсом звонко бьется ожерелье,
Но он не замечает, и всерьез

Проходит в рубку, ищет, наконец
Находит тумблер в темноте и всею,
И вновь, над спящей Ялтой торжествуя,
Поет злой гений Крыма – Горовец.

Матрос доволен, приобщен матрос
К гармонии: прекрасный мир – вот, рядом...
А тенор, как вопрос себе сам задал,
Так сам себе ответил на вопрос.

Но вот меняют вахту, сквозь рассвет
Пошел баркас вихлять крутой кормою,
И шестибальной взвешенной волною
Не изменить порядка жизни, нет.

х х х

В. С.

Скажи, как предлагаешь дальше жить, когда
в двух-трех шагах от нас уходит осень?
Случайный встречный прикурить попросит,
едва кивнет в ответ, и все понятно. Да,
такое дело, брат, сам знаешь, видишь, дождь,
чужой, пустынный дождь метет сквозь листья,
и никаких тебе особых истин,
тепла, брат, хочется, да где ж его найдешь...

Бывают времена, я что хочу сказать...
А впрочем, раньше выпьем для порядка.
Все по порядку, брат, все по порядку...

АЗИЯ

Лазурь да глина...

О. М.

Тростник да глина, да опять тростник,
да глина, Господи, да сколько можно пыли,
мельчайшей честной пыли, искони
забытой Богом, может быть, забыли б
и мы о ней, да только где найдешь
так много пыли сразу, где отыщешь,
и потому мы будем помнить, что ж,
ее, лежащей иногда на тыще
бездумных километров, вопреки
всему, столбом клокочущим встающей
и в щепки разносящей кишлаки,
чтоб, этим горьким опытом научен,
сидящий на базаре аксакал
в своей глухой, насквозь верблюжьей шапке,
спокойно руки уперев в бока,
смотрел бы равнодушными к ландшафту
глазами выше, где, обнажена
до боли, в душном воздухе колеблясь,
стоит старинная седая Фергана,
мечетями раскачивая небо.
Он видит все, что хочет, он, старик,
умеет так, все небыли и были
в его зрачках, вот сад, а вот арык,
а вот слоны из Индии проплыли...

Но вот тростник да глина, да тростник,
да глина, Господи, да сколько можно пыли...

БАРСА-КЕЛЬМЕС

Барса-кельмес /туркм/ – уйдешь – не
вернешься.

Ночь поднимет воротник
и как вкопанная встанет,
и умолкнет проводник,
и нащупает в кармане
три тяжелых золотых
раскрасавицы-монеты,
скажет: „Всё... до темноты
не успели, дальше нету
мне, хозяин, здесь пути,
забирай подарок щедрый,
до Ургенча не дойти,
видишь – на глазах – под ветром
нам с тобой наперерез
сполз бархан почти на сажень...”, –
скажет: „Всё... барса-кельмес...”,
больше ничего не скажет.
На колени упаду,
оттолкнет, не обернется,
и останусь, как в аду,
до ближайшего колодца
за шесть суток не дойдешь,
не уложишься, промажешь...
Два верблюда, острый нож,
да пустяшная поклажа...

1971 г.

ПОХОРОНЫ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Приходите сегодня – ну, скажем, на праздник,
На себя указать, на других поглазеть,
Захватите и водки, и музыки разной –
Приходите – попразднуем смерть.

Захватите соседа, чтоб не из брезгливых,
Мы поручим ему, а сперва поднесем.
Это нам не впервой – по зеленому ливню
Каблуком да тарелкой с разбитым борщом.

Елку я приготовлю – все будет чин-чином,
Вплоть до гула пролета, полы сквозняка –
За сараи ее, рядом с лавкою винной,
Мы посмотрим из окон – у нас свысока.

А пока он обратно, одышкой страдая,
Мы успеем взгрустнуть, ковырнуть пирога,
Мы за черствость его пожурим, потерзаем,
А вернется, за новый, по новой – ага.

14 января 1966 г.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Без суеты и без мороки,
с ног на голову — так-то вот —
пришли крещенские морозы
поставить нас наоборот.

Так обстоятельно, толково,
как курят рыхлый самосад,
как лом сгибают, гнут подкову,
слова при этом говорят.

Так и они, морозы эти —
все сучья хруст: все-щелк-сучки,
все — ах ты, ветер, ух ты, ветер,
Крещенье все, куда ни кинь...

И снега не было почти что,
усугубивши холода,
руками разведешь — поди ж ты, —
и диву дашься, разведя.

А он, крещенский, крепкий, пала,
прямой и толстый, как бревно.
Белье, как колокол, стояло,
Великого Ивана. Во!

И так того мороза возле
с ног, с толку сбилась вся Москва,
что он ушел, а мы все мерзли,
стояли мы на головах.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЕ О ПЕЧЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ

I

ЛУНА В МОНАСТЫРЕ

Сопровождала в октябре,
препровождала время ночи,
умела так направить очи,
так осветить в монастыре
глухие каменные плиты,
крутые башни, купола
и стены, что вьюном увиты,
так увеличить их могла,
так наделить нездешней тканью,
ее воздушной белизной,
как будто вовсе не луной
освещены, а в мирозданье
свершилось чудо из чудес
и светятся предметы сами —
своими видел я глазами,
как из себя зажегся лес,
не говоря уже о поле,
открытых увальнях-холмах,
о горизонте, что до боли
незащищен... И на свой страх,
и на свой риск, на удивленье
пространство, легкое, как тень,
светилось, представляя день,
точнее — светопредставленье.
Свет, доведенный добела,
рос, расширяясь беззаветно,
своим охватывая ветром
то тишь колодца, что была
в дубовый строгий сруб одета,
то легких облаков плеяду,
то птиц ночных переполох.
Свет нес прозрачную прохладу,
неволью общий чистый вздох,
и я ручаюсь — видит Бог, —

всему виновница – луна,
ведь это именно она
и в правоте своей, и в силе,
и в несусветном мастерстве,
чья суть – как дерево в листве
или, допустим, гроб в могиле –
мы видели луну.
Мы жили
в тот год в стенах монастыря –
недолго, честно говоря.

1970

ЗАКВАСКА КАПУСТЫ

Сто двадцать ведер было в бочках тех,
в которых мы капусту трамбовали
монастыря Печерского в подвале,
где своды выпуклы, как греческий орех.

За каждой порцией капусты в бочку вновь
чтоб было слаще, чтобы было горше,
отец Иероним бросал пригоршней
соль редкую и частую морковь.

А мы, стерев ладони докрасна,
трамбовки в бочку опускали с хрустом,
чтобы была в монастыре капуста,
чтоб на зиму заквасилась она.

В срок выполнив урок монастыря,
спасибо скажем брату Мартемьяну
за взор неистовый, за труд предельно рьяный
и за былинный склад богатыря.

Живого духа долгие лета
неисчерпаемы, засим о них некстати.
Да будут сыты и отцы, и братья,
да будет паства грешная сыта.

ПЕЧОРЫ В ОКТЯБРЕ

Октябрь в Печорах так пунцов,
и так он весь непрерываем,
так он велик в конце концов,
что поручиться я готов:
да, осень здесь проистекает —
в отличие от прочих мест —
куда значительней и выше.
Однажды, поглядев окрест
с холма, через прозрачный срез
высоких тополей, что дышат
сияющей голубизной,
устроившись амфитеатром
над городом, его чертой
являясь, чуткой городской
чертой... Однажды утром —
я повторю — окрест взглянув,
мы видим через срез прозрачный
густую внятную страну,
где, еле слышные, по дну
шуршат дома гнилой, невзрачной
слоеной кровлей, но не то
нас привлечет, напомним, внятный,
густой набор ее цветов,
ее страны Печоры, что
без повторения понятно.
Меж дранкой крыш и небом чистым
дубы, березы и ветла
горят имбирем, аметистом,
пронзительным рябиным свистом —
готовым сжечь себя дотла.
Но суть не в трех осенних красках,
а в гибкости полутонов,
где все — от желтых и до красных —
представлены, и не напрасно,
раз поручиться я готов.
Они разбросаны свободно,
сосредоточив общий вид
в монастыре богоугодном,

который делает погоду
и крепко в городе стоит.
К нему ведут дороги-студни,
в любой колдобине там лед
блестит на солнце до полудня,
а в теплый день к концу обедни
быть льдом уже перестает.

Достаточно через ворота
в глубь монастырского двора
пройти, привыкнуть к позолоте,
как вдруг поймешь – случилось что-то!
Октябрь случился, и пора
понять, что не найдется средства
его постичь и описать,
он в ожерелье года – редкость,
а факт с монастырем соседства
дает возможность утверждать,
что красок ослепленных море
и тяга птиц к монастырю
и есть октябрь – вот в этом корень,
что хорошо ему в Печорах –
они подходят октябрю.

х х х

Не рад тебя увидеть и не рад
тебя не видеть и не балагурить,
который день, который год подряд,
какую осень – разве перекурит

курильщик, и куряка, и курец,
не хватит легких, печени не хватит,
не хватит подлости, какой бы ни подлец,
и нежности, какие бы ни платья.

Но есть другой, есть прочий оборот,
и без тебя значительно не лучше,
и потому не рад на этот счет
писать и не писать на этот случай.

Продумал, прогадал, проведал,
 проконспектировал, пронёс,
 проповторял, как „буки, веди”,
 все эти дни – так повелось:
 прошевелить губами имя,
 пробормотать и, за глаза,
 встречаться с карими твоими
 и снова, заново – с аза,
 с начала все – одно и то же,
 но каждый раз, как бы впервой,
 все о тебе, о самой той же,
 о небывалой, о былой;
 все о тебе, о неизменной,
 немислимой и не моей,
 как проповедь, как кровь по венам –
 одноименно – столько дней.

ЛЕНИВЫЙ МАРТ

Ленивая весна, ленивый оборот
светила тусклого вокруг земного лона,
где день и ночь, установив черед,
ему спокойно следуют и сонно.

Медлительны ручьи, неторопливы капли,
протяжен их полет, бессмысленна их речь,
когда приходит миг упасть в сырую паплю
расслабленных снегов, точить ее и течь.

Ленивая весна, к полудню хочешь спать,
лежишь, ворочаешься с боку на бок,
проходит час, встаешь, чтобы опять
лечь, не раздевшись, не снимая тапок.

А ночью мучает бессонница, зазря
бумаги кипу толстую испишешь,
искуришь пачку сигарет и фонарям
не рад, и тишине, и неизменно лишней

которой чашке кофе — нет, не рад.
Исходишь все углы, перелистнешь страницы
каких-то книг, к утру уснешь, подряд
раз пять проснешься докурить — не спится.

Ленивый март, не веришь, что весна,
что мир ее так стар и так никчемн,
и голова еще болит со сна,
и день преувеличенно огромен

и кругл, как выцветший воздушный шар,
который зацепился за антенны,
повис над городом и пучит не спеша
большой живот и не скрывает лени.

Ничто к слезам не клонит, не смешит,
бессонниц след, сон, головные боли —
все входит в норму, принимает вид
той повседневности, в которой ты не волен.

Выходишь из дому. Все те же фонари,
цветы в корзинах выхвачены светом,
но, надо же, их некому дарить,
и, надо же, подумать лень об этом.

х х х

В тысяча девятьсот семьдесят втором году,
В сентябре, в ночь на среду,
На двадцать седьмое число,
Как снег на голову – выпал снег, –
Белоснежный, правдивый...
Но все, да, увы, все, и без исключения,
Вместо того, чтобы собраться
И как-то обсудить этот факт,
Я бы даже сказал – приключение, –
Сделали вид, будто ничего такого не произошло,
И пошли на работу, учебу
И в детские учреждения.
И забыли б об этом,
Так уж бывало не раз,
И на этот раз так же бы все и произошло,
Если бы не нашелся один умный и трезвый человек,
И не написал бы об этом
Вполне приличное стихотворение.

х х х

Я еду к бабушке, я ростом невелик.
Начало лета. Стук колес подробный.
Стояло утро. Шаркал проводник
по коридору, веяло ознобом
от стекол, от деревьев, желтых стен
прекрасно-желтых зданий станционных.
Я просыпался, наступала лень
прекрасная. В сознание полусонном
я помню мамин аккуратный рот,
слова смешные, головокруженье,
и шорох платья, и душистый мед
ее волос, и в тамбуре движенье.
Стояло утро. Мы на полпути
до белозубой украинской речи.
И я впервые не хочу расти,
хочу быть маленьким и ехать бесконечно.

ВОЛОСЫ

Складывать и собирать
осторожно, прилежно, в струю,
проводить их на грудь,
окружать, перепутывать плечи,
пропускать через пальцы
их вольный пронзительный юг,
и губами встречать,
и тянуть, и откладывать вечер.

Развивать, распускать,
широко, откровенно тревожить
и по ветру пускать,
чтобы гладил и нес на руках,
еще как их любить,
еще как, до беспомощной дрожи,
до лопаток, ключиц,
до уже не могу —
еще как!

ВОЛОГОДСКИЕ СТИХИ

Посвящается Б. Г.

Повседневное лето, июль, долгополая даль,
комариному зною мерещится полдень сосновый,
по озерной глуши разошлась луговая печаль,
что ни день камыши, сыроежки, гнилушки и снова
толковище ручьев и дождями размытая гать,
а по вечному, вешнему, сущему пастбищу неба
опускается к нам сокровенная та благодать,
что бывает сродни караваю лучистого хлеба.

Хорошо или нет, если полдень дубовый горбат,
если солнце, как пень на попу, на орла и на решку,
и, как стадо волов, все холмы разбрелись наугад
и лежат с облаками и круглой водой вперемежку.

Ни забот, ни тревог, в омутах кочевряжится лень,
от мостков к переправе бредут тополя-одногодки,
и кружит поневоле, и тонет за парусом тень,
и вот-вот опрокинет смоленую выскочку-лодку.

А вокруг тишина будоражит и точит виски.
Углубившись в лощину, деревья застыли в обнимку.
И, рыдая от счастья своей допотопной тоски,
молодые волчата грызут сыромятную дымку.

х х х

*Je ne parlerai pas, je ne penserai rien.**

Arthur Rimbaud

А когда катерок прислонился к причалу кормой,
Я пошел на озера, где, слышал я, водятся утки,
шутки ради взошел на один из ближайших холмов,
а потом был не рад этой шутке.

Все, что было направо, и все, что лежало вдали,
если прямо смотреть, если руки послать к горизонту,
называлось закатом и знать не желало земли,
и пылало, и плыло, смещая расплывчатый контур.

Я решил, что сейчас все идет к первородной поэме
оснащения ночи, и я, кто причастен извне
к величайшей загадке, обязан постичь это время,
эту редкую честь, разрешенную смертному, мне.

Я смешался с природой: с листвою и воздушною массой,
я стал тенью и камнем, безликим и глухонемым,
я впитал в себя все, что возможно охватывать глазом,
и узнал посвящение вечера в траурный дым.

Я увидел, как парус заброшенной маленькой лодки,
откликаясь на луч, что скользил параллельно земле,
треугольною тенью накрыл водоем без остатка
и распущенной ряби разгладил кочующий след.

Я узнал, как холмы начинают качаться и падать,
и мелеть на глазах, а потом исчезать навсегда,
как безропотно лес заплатил сокровенную подать
и зеленый порыв сокрушила глухая слюда.

А закат в это время освоил пустынное место,
отдуваясь, ворча, из себя выпускал он валы,
и они надувались тугим и резиновым тестом,
и ползли наугад наподобие едкой смолы.

Мне казалось, вот-вот образуется брешь в мирозданье
и, прожженная, рухнет тогда горизонта стена,
упадет небосвод, и начнется слепое скитанье
безысходных трущоб по вселенной, не знающей дна.

Я уже не могу описать ни малейшего звука,
помню хлопанье крыльев, невидимый рокот воды,
крик животных и птиц, помню невероятную муку
шелестящей листвы при явлении первой звезды.

А тем временем шар опустился на край горизонта,
и тогда я почувствовал, как откровенно легко
пошатнулась земля и рванулась всем корпусом, фронтом,
перевешенным грузом в ночное ушла молоко.

Наступила пора невесомого вольного мира,
протяженного воздуха — мне показалось, что я
стал парящим крылом, стал дыханием, сном равномерным
темных волн, что прическу любимой колышут, храня.

Между тем леденели закатные душные горы,
темнота индевела, являлся законный конец,
и суконная ночь опускала густые подзоры
на широкую даль, опадавшую медленно ниц.

Оставалась минута, и я бы опомнился, чтобы
заниматься делами, наметить удобный ночлег,
выбрать место охоты, а также на случай озноба
для костра заготовить валежник. Затем без помех

выпить флягу вина и, укрывшись плащом, до рассвета
подремать под хрустящего пламени звук,
иногда, поднимаясь, сухие подбрасывать ветви
в белозубый огонь, чтобы он не поник, не потух.

Но случилось иначе, поскольку внезапно оттуда,
где тускнел полумесяцем хрупкий закатный мазок,
вдруг, прорвав облаков серобокую жирную грудку,
прянул огненный столб, как гигантский предсмертный
цветок.

Это было как птиц погибающих яростный клекот,
Так, как в горло ножом или нет... Не могу, не могу,
не могу объяснить, не умею, не стану, и все тут,
никогда не смогу — не хватает ни легких, ни губ.

О высокая ясность свидетеля смерти, и все ж
я бы проклял себя, если б стал дожидаться, покуда
так случится — я бросил ружье, потерял патронташ,
и охотничье платье я в клочья порвал, безрассудно.

Я спустился с холма, я бежал — так во веки веков
невозможно бежать, я ругался, я падал стократно.
Я спустился к причалу и там упросил рыбаков,
чтоб меня увезли, чтобы мне разрешили обратно.

* Ни мысли в голове, ни слова на устах. Артур Рембо

ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ, В КОТОРЫЙ УЕХАЛА ЛЮБИМАЯ И ЧТО-ТО ДОЛГО НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Из камня, привезенного насквозь,
из улиц, не умеющих иначе,
как прямо, правильно лежать и на авось
не уповать, рассудочность арийскую означить,
не повилать хвостом, не посудачить,
а так держать, так быть, как повелось.

Весь скользкий от туманов и от плит
гранитных, мрамора, зеленой меди,
оград чугунных и кариатид,
висящих струй — рассчитанных созвездий,
холодных так, что назовете „лэди”
ту женщину, о коей все болит.

О мертвый, о живой, как парапет,
обиженный и затаивший злобу
за то постановление на предмет
перенести в Москву столицу, чтобы
ее почетом окружить особым,
сосредоточить пищу, власть и свет.

Назло тебе не опершись — опершись
на стол Европы, выбив, продолбя
свое окно, став крепостью и стержнем, —
ты чужд мне духом, не хочу тебя,
тебя возненавидя, разлюбя
за то, что ты зазвал ее и держишь.

ПОРТРЕТ Э.

Доверившись с начала до конца
Природе памяти, скажу, что достоверно
я осознал призвание лица,
значение глаз и губ закономерность.

Я понял склонность имени к речам
крахмальных складок прибалтийских магов,
к тому, что за ночь рушится свеча,
как крыльев крик, как ветер после взмаха.

Но чтобы имя обрело оплот,
мне должно уточнить его картину —
от первой гласной труден переход,
напоминающий вторженье гор в долину.

Лицо, его призвание — любовь,
и, раз увидев, чувствуешь так остро
то галстук Байрона, то легкий плащ Рембо,
а то Карамзина туманный остров.

Лицу противоречия лишь на миг,
глаза означили поля, где так прекрасно
отечество, спокойствие и мир,
раздумье протяженное и ясность.

Губам присущ словесный детский труд,
серьезность простодушная и вера
в то, что услышат, правильно поймут
и вывод сделают, рассудку соразмерный.

Вот в целом все, что я хотел сказать.
Портрет мой есть не выдумка, но правда.
Я с этой женщиной знаком был год назад,
сама она была из Ленинграда.

1967

х х х

Как взбитое как следует яйцо,
не тронутое рыжим карапузом
в вишневой шапке, в бежевых рейтузах,
ушлепавшим от бабки на крыльцо.

Итак, как гоголь-моголь в чашке белой,
на белом свете очевидным днем
лес оседает легким, мягким телом
на теплый грунт – на собственное дно.

Там, где одноименно жирной охрой
топленный иней потчует траву, –
там оседает лес, там лесу плохо
сходить с лица и обнажать главу.

Каждой птице закон разрешил полушар,
полусердия два и гнездо.

Каждой птице положена на день душа
и рождение под красной звездой.

Каждой птице – в полях ли, в горах ли, в лесах,
пестрый фартук ли, строгий реглан –
обязателен страх в обнаженных зрачках
и походный тугой барабан.

Каждой птице закон обеспечил печать
на тепло, на высокую статью.
Каждой птице дано, если хочет, кричать,
если только захочет кричать.

Каждой птице и ноты, и тембр, и слова,
фрак взавправдашний, сшитый для тех,
у кого вместо палочки – эх, удила!
да купецкое крепкое – эх!

Ох, у каждой возможностей столько, и зоб,
и граненый пронзительный слух,
и на выдохе в клюве проклятый озноб –
нестерпимо соленое – ух!

ДОЖДЬ

В линейку, а лучше в клетку,
глухо, как будто в кадку,
по жалюзям и решеткам,
и по кирпичной кладке
срываются полные капли
на деревянный цоколь,
размеренно — оп-ля, оп-ля —
простуженный, хриплый цокот.

На происшествие это
смотрю сквозь железное сито
и привкус дождя пресноватый
губам ощущать приятно.

1968

РОТОЗЕЙ ФОМА

По сторонам глаза,
шел ротозей Фома,
а мимо ротозея
зима мела, зима.

И все бы ничего бы,
когда б в худых пальто,
знакомые до гроба,
неведомые кто

смеялись и совели,
навстречу шли и шли
и пели, что умели,
и ввали, как могли.

Да разве их осудишь,
раз ветер: ги да гу,
пусть кутаются люди
в белую пургу.

А если ветер тише,
то видит ротозей,
что голуби на крыше,
как пряники в безе.

И, значит, все в порядке,
и, к тополям влеком,
играет ветер в прятки
с нездешним языком.

И ротозею надо
все видеть, все учсть,
от запаха до взгляда
заметить все, как есть.

А если его слушать,
то снег, к примеру вот,
воистину из плюша —
и негр наоборот.

А если на арапа,
то черной рощи вид
походит на арабский
сутулый алфавит.

И это все, в чем смыслит
Фома, как ни пляши,
такой уж образ мысли,
такой уж строй души.

Так, слушая, глаза,
шел ротозей Фома,
а мимо ротозея
зима мела, зима.

И без забот, без денег,
сейчас и через век
Фома – чудака, бездельника,
прекрасный человек!

Мой товарищ так болен,
 что я не решаюсь сказать,
 что товарищ мой болен
 тяжелой болезнью рассудка:
 третий день, третью ночь,
 третьи страшные сутки подряд
 он не спит и не ест,
 только пьет уже третье сутки.

Мой товарищ живет
 по закону большой красоты –
 небывалый словарь,
 беспредельное смутное чувство,
 в каждой строчке его
 изумленно сверкают цветы
 недоступного мне
 и родного, как память, искусства.

Мой товарищ устал
 от безденежья, лжи и утрат,
 от своей сокровенной,
 таинственно-жуткой работы.
 Через город большой
 я упрямо везу ему яд,
 за старинную дружбу
 готовлю я злую расплату.

Я поставлю на стол
 трехрублевого солнца завет
 и открою железную,
 мягкую, круглую дверцу.
 Выпей, друг дорогой,
 за пучок неразрезанных вен
 и за сердце свое,
 драгоценное бедное сердце.

ШАЛАНДА

Как много моря, света и любви
одной шаланде парусной, обычной,
расширь глаза, дыхание прерви
и посмотри, как наискось, по-птичьи
она ныряет, парус накренив,
взмывает вверх, прекрасный этот парус,
тому, давно воспетому, сродни,
летит вперед, мне кажется – не даром
я говорю: одна шаланда, но
с каким она открытым постоянством
встречается с очередной волной
сурового пристрастного пространства.

Какая в ней свобода и, прости,
какая беспримерная наглядность
того, как можно море обрести,
свет и любовь и, если хочешь, радость.

Откуда взявшаяся? Чья? Бог весть,
но вот седой полет, большое право,
за красоту прижизненная слава
и целый мир за мужество и честь.

КАВКАЗ

Защелкнуть, записать, запечатлеть,
На пленке ли, бумаге ли, холсте ли,
Пусть не вполне, наполовину, треть,
Не мир, не край, а благодать...

Чур, чур меня, Кавказ запечатлеешь,
Устанешь запечатлевать,
Устанешь, вымрешь и окаменеешь.

РОНДЕЛЬ I

Ночь прошла на волоске
от моей прекрасной смерти,
в непреклонно лунном свете,
в мягком снежном парике.

Ровный блеск в твоём зрачке
напророчил строчки эти, —
ночь прошла на волоске
от моей прекрасной смерти.

Не встревожены никем,
мы уснули на рассвете,
не поняв и не заметив,
как чуть слышно вдалеке
ночь прошла на волоске.

РОНДЕЛЬ II

Еще одна пропала осень,
я говорю, – еще одна
пропала осень, чья вина,
что снег сегодняшний заносит
скамью вчерашнюю, нет, вовсе
ничья вина, тем горше знать:
еще одна пропала осень,
и повторить: еще одна...

Но если ты случайно бросишь
взгляд на чужих далеких нас,
то станет тише тишина,
и ты уже не переспросишь, –
Еще одна пропала осень?..

В КАФЕ

Как псы, влекомые предчувствием своим,
Ноздрями важно водят, ждут момента
Для дружбы, для вражды,
Для новых чувств и дум,
Так прячут в бороды табачный сизый дым
Два в кожаных пальто интеллигента.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О БОЛЬНИЦЕ

I

На больничном дворе начинается осень,
на окне нашем иней осторожно застыл,
это значит, сегодня смущенные лоси
понесут на рогах золотые листья.

Это значит, один молодой и красивый
между прочим зайдет к нам на маленький двор
и опустит тяжелые карие сливы
перед белым огнем медицинских сестер.

А они не заметят высокого гостя,
собирая сорвавшихся листьев напев,
начинается осень, начинается осень,
с пустяка ли, с подножья сентябрьских деревьев.

Значит, в общей палате, где так одиноко,
скоро будет поставлен прозрачный на свет,
раздвигающий вазу, резной и широкий
и почти деревянный кленовый букет.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

И дождь, и ты, и парк, и мокрый ветер,
и скомканные листья на окне,
и апельсин в разползшемся пакете,
и водяные пятна на стене...
...Приемный день...

III

Оглянись, оглянись, ну хоть раз,
за углом, у троллейбусной синьки.
Только так, чтобы около глаз,
чтобы около глаз две морщинки.

Подоконник, два локтя, карниз,
все залечим сентябрьским застоем.
Только ты оглянись, оглянись,
ну хоть раз, ну что тебе стоит.

Октябрь, 1965

ВРЕМЕНЕМ ТЕМ...

Временем тем, когда был я как раз возле окон,
Ждал я прихода любимой и улицу вплоть до угла
Видел, тем временем странным, не знающим сроков
Временем тем, как любимая не приходила, не шла,

Возле окна проносили венок похоронный,
Люди, одетые в черное, тихо касались земли,
Будто боялись осыпать лавровую крону,
Возле окна проносили венок, пронесли...

Не различал я людей этих стертые лица,
Лица, которым не ведомы были уроки судьбы,
Взгляды безмолвной пустыни, бесцветнее ситца,
Выцвели взгляды и лица, я не различал их, забыл.

Нет, мне ничто не казалось таинственным знаком,
Шторы задернув, проник я в их мягкую тьму,
Мысль беспокойная овладевала, однако
Только о ней никогда не скажу, ни за что, никому.

Так, оставаясь один, размышляя над этим виденьем,
Долго любимую ждал и губами бескровными, ртом
Все повторял про себя я, нечленораздельно,
Временем тем, возле окон, — не мог различить я — ничто.

Опоздавший к листопаду
на неделю или сверх,
к покосившейся ограде,
той, что летнюю эстраду
окружает, — человек
прислонился и померк.

По дощатой мокрой сцене
проползают облака.
Человек в пальто осеннем
держит руку у виска.

И, как явленную тайну,
опустив невольно взгляд,
видит он свой первый танец
и последний листопад.

Что припомнил он, не знаю,
только, сгорбившись слегка,
он уходит, поднимая
узкий борт воротника.

И пока спешит до дома,
повторяет: „Вот беда,
как же так я не подумал,
к листопаду опоздал?..”.

БАШНЯ

Как никогда, легко предположить
мороз, равнину, каменную башню,
которую оставили стрижи
и ласточки, и человек всегдашний,

последний, он и тот исчез вдали,
забылся снег, оцепенел лишайник,
и лишь равнина, и мороз стоит,
и башня камнем камень заглушает.

А в башне этой праздничный простор,
есть дичь, вино, камин, но так вот вышло,
что не видать шуршанья пышных штор,
и вот еще — души живой не слышно.

х х х

В. Б.

Не ординарный гений, человек
большой души и правильной закваски,
умеющий разглядывать поперх
очков и шарфа и прохладной маски.

Еще один великий и простой
живет среди нас и тешит слух наш замшей,
и ходит к гражданам прекрасным на постой,
и женит их, и выдает их замуж.

Он озарен и глубиной ума,
и мнением на самый частный случай,
он понимает все,
и много лучше,
чем если б я хоть что-то понимал.

1966

ПЕСЕНКА

Нынче ночью погасла верба,
нынче зябко в пустых аллеях.
Я смотрю на зеленое небо,
я лежу на твоих коленях.

Ты меня гладишь долго слишком,
ты мне кажешься много старше,
у тебя есть плюшевый мишка,
ты его гладишь точно так же.

Наклоном головы, глазами... я не знаю,
чем, как, в который миг, но только объяснись,
И я пойду на все. На край, на шаг, что с края
сведет на нет все то, что именуют — жизнь.

А если хочешь, я останусь быть, как не был,
как жил до, без тебя, — как палец, во весь рост,
во всю длину ночей, один, без сна и неба,
жить прошлою тобой, как светом мертвых звезд.

Исполню все как есть, клянусь гортанью, криком,
клянусь как никогда, как бог не приведи,
чтоб ты могла дышать, ходить, любить гвоздики
и гребешком широким у зеркала водить.

Клянусь тем самым днем и лестничным пролетом,
в ритмичности своей шагов хранящим такт,
лишь только не смотри вот так,
вполоборота —
как смертный, как живой,
я не ручаюсь так.

х х х

С обратной стороны дождя
и листопада, и медали,
которую, быть может, дали
или дадут чуть погодя.

Так вот, с обратной стороны
всегда есть что-нибудь такое,
что ой-ё-ёй, что нет покоя,
когда бы не со стороны,

когда бы приучили нас,
когда б вот так – без взятки-гладки –
была бы, например, луна
и кровь на скомканной перчатке.

БАГУЛЬНИК

Твой багульник не расцвел
ни на утро, ни под вечер,
зря сутулила ты плечи,
твой багульник не расцвел.

Зря, облокотясь на стол,
не спала, водой поила,
зря к окошку подносила,
твой багульник не расцвел.

Помнишь, все твердил я: мол,
что ни дом, ни подоконник, —
видишь, вон цветет багульник,
твой багульник не расцвел.

Был я весел, пьян и зол,
был неверен, суть не в этом,
ты не слушала поэта,
твой багульник не расцвел.

Будешь плакать день-деньской,
что не стала жить законом
тех, кто продан Аполлону,
не расцвел багульник твой.

Мы простились, я ушел,
мне не холодно, не жарко,
и тебя совсем не жалко,
твой багульник не расцвел.

НОЧЬ В ПУТИ

Все началось в тот вечер. Вышли сроки.
Была луна, был поезд и вода,
была коса – коса Чушка* в осоке,
в морской шипучке мерзлая звезда.

Вдоль по откосу волочили тени
косые шпалы, черные, в смоле,
и прятали их в олове растений.
и плавил на выжженной земле

Товарищ мой молчал и как-то странно
в окно смотрел. Мне чудилось: сейчас
он думает о том, о самом главном,
неповторимом в этот миг и час.

Я чувствовал его плечо и локоть,
и жилку на виске, и каждый вздох,
и каждый нерв был пропастью и током
меж ним и мной, и я никак не мог

понять, что это значит, что за малость
связала нас и разлучает нас.
– Смотри, – сказал он, – масляные шпалы,
звезда в воде, осока и луна.

* коса Чушка – узкая полоска земли между Черным
и Азовским морями

х х х

Самосвалы, снегоочистители,
дворники, армейский четкий шелк,
жэки, гаражи и представители
просто и не просто. И еще
телеграммы, бланки, сводки, копии,
титульные – враз с черновика –
в ящиках, корзинах или копнами
на сукне, стекле и абы как, –

знали, довели, и без огрехов,
до тебя, до дуры, прочих всех:
Выпадет. Сегодня. Ночью. Сверху.
Государственный. Законный. Зимний. Снег.

Ты поймешь в октябре, открывая калитку,
Открывая, как дверцу в палящую печь,
Этот воздух и даль, этот свет и калину
От табачного дыма нельзя не беречь.

Ты поймешь, как от ветра серебряной шутки
По лощинам мерещится чудный мотив,
Будто где-то в трещотки, в бубенчики, в дудки,
Скоморохи ватагой играют в пути.

Ты поймешь, что октябрь неизменно настоен
На рябиновой крови, дубовых плодах,
Нестерпимый напиток попробовать стоит,
Чтоб горячая память жила на губах.

Ты поймешь по тому, как нахмурился запад,
Что октябрь на исходе, но это не в счет,
Если помнить задумчивый пепельный запах,
Его легкую сушь, его мягкий полет.

Закутан в плащ, я знаю – я не прав,
я сухо отстраняю ветви хвои.
А ты, легко на цыпочки привстав,
Срываешь лист губами. Нам с тобою

свежо в пустынном, смешанном лесу,
умеющем скользить глубокой тенью
по моему, по твоему лицу,
и с плеч на грудь, и дальше на колени.

Плотнее запахнув полу плаща,
в лесу, наполненном холодным светом,
я ничего не смог пообещать
тебе, но ты не думаешь об этом.

Да, я не прав, я не имею сил
на влажность глаз и забытья величье,
за все, что без прощения простил,
раскинуть руки недоступно нынче.

Открытый необузданный размер,
свободы ветра явная примета –
прошла весна, теперь проходит лето,
вот мертвый лист – живой тому пример.

БАТУМ-ГУРЗУФ

Нас убивают собственные „мы” –
Обманом наших женщин драгоценных,
Тех, без которых жить мы не могли,
Куда бы поезда и корабли
Ни увозили нас, не увезли,
Натальи наши дивные, Елены
Приблизят сроки будущей зимы.

Мы так живем, что как нас не любить,
Таких красивых и таких убогих,
Такою неприкаянной дорогой
Мы вдаль идем, что вот еще немного –
И кажется, что все, не пережить.

Мы убиваем собственно себя
Жестокой жалостью, чтоб с нами были рядом,
Чтоб словом нас касались или взглядом,
Мы ищем утешения, губя
Себя самих, и нету нам пощады.

Май 1972

РАССТАВАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ НОВОГО ГОДА

До встречи, до порубки леса,
до обывканья хвойных букв,
за мороженых звонким блеском
стеклянных выстроенных штук,

до воска, свернутого в трубку,
где в стебельке крученом суть,
до той поры, когда ты — в шубку
и кое-как, куда-нибудь,

до глаз, что впитывают честно
расплывчатый зеркальный сад
и в час единый посвеместно
вдруг вспыхивают и блестят,

до красноречия бутылок,
сумбура, песен до утра,
до серебра ножей и вилок
и чайных ложек серебра,

до бестолковой канители
и запотевшего стекла...

Итак, до будущей недели,
до тридцать первого числа.

х х х

За ложь проклятую, за ужас
глаз полудетских, за кошмар
твой бессонницы, за стужу,
что приготовила зима

нарочно, чтоб проверить, как я
тебя согрею, защищу,
за лени заспанную паклю,
за бедность, черт возьми, не так ли,
чем, как с тобой я расплачусь?

х х х

Пропала осень без зазренья
уснувшей совести своей,
чтоб тем надежней, тем верней
прожить еще немного дней
в двух-трех строфах стихотворенья.

Ну что ж... пора. Плотнее дверь
закроем без вражды и тяжбы
и рамы шорохом бумажным
проложим, чтоб сказать однажды:
„Пропала осень, что ж теперь...”

ПРИБАЛТИЙСКИЕ СТИХИ

Как хорошо, что мы с тобою здесь
так близко от признания и права
своей любви, как это верно, право,
что наконец-то мы с тобою есть.

Как хорошо проснуться здесь в тиши
таким прозрачным юношеским утром,
да, юношеским, молодым – как будто
одни мы, первые, и больше ни души.

Как хорошо все то, что ты сейчас
проговорила теплыми губами,
что не было пространства между нами,
а времени, по счастью, не до нас.

Как хорошо, что если захотеть,
то можно выйти к морю, соснам, дюнам,
идти вдоль берега и ни о чем не думать,
а просто так идти, любить, смотреть,

ловить глазами ровный чистый свет
и понимать, что значит мир всегдашний,
как хорошо нам, Господи! О нет!
Как грустно нам, недолговечно, страшно...

х х х

Невозмутима гладь твоих
серо-зеленых глаз в оправе
ресниц ракитовых, речных,
не помышляющих о праве

преобладать на фоне глаз,
где с детства панская надменность
царит и властвует. Как раз
таким прощают ложь, измену,

перед такими в час ночной
лежат в ногах, берут их с бою.
Что ж, поживем еще с тобою,
еще поборемся с тобой.

Кончался май сегодня, и затем
окно открыли настежь и смотрели,
как он не замечал своих потерь,
себя утраченного, прошлого на деле.

Шел плоский параллельный свет
пластинками прозрачными, прямыми,
струящийся сквозь клубы сигарет,
проистекал он исподволь и мимо.

Он в камеру, как струны, проникал,
топил и расширял, распространяясь,
и делал так, что около виска
растения прожилок ощущались.

Полны и стройны струны и легки,
на них играть вполне уместно было,
достаточно движения руки
и перебора жалюзи застылых.

Все это походило на концерт,
где мягкий звук сосредоточен втуне —
шел плоский параллельный свет,
кончался май, и продолжались струны.

Я разучился различать тебя,
когда нас двое в комнате, где тени
окаменели, и в окне рябят
под фонарем ветвей переплетенья.

Я разучился руки положить
тебе на плечи, волосы погладить,
и в сторожах заведомых служить
у губ и глаз, и даже просто ладить.

Я не могу угадывать слова
и смысл их не умею обнаружить,
а как умел, как знал лица овал,
что к подбородку бережно заужен.

Как я умел, как знал... Что говорить,
Куда больней, куда еще как горше,
я разучился прошлым дорожить
и жить воспоминанием о прошлом.

Я разучился напрочь, насовсем,
и от любви, когда-то долгожданной,
мне страшно стало, и страшнее тем,
чем эти вот стихи мои пространней.

х х х

Какая нынче, Господи, весна —
осенняя и солнечная сразу
для творчества, безумства и вина
и для любви. Охватывая глазом

ее просторы сизые, скажу:
всем повезет сегодняшней весной,
не даром я по городу хожу,
недаром мы поссорились с тобою

и тотчас помирились. Хорошо
с такой весной в мире жить и дружбе,
и раз уж разговор такой пошел,
то умереть в ней тоже хорошо,
уж если умереть когда-то нужно.

1969 г.

НЕКОНКРЕТНО О ЛУНЕ И О РАССТАВАНИИ

На лавочке, утопленной в снегу,
Линялой и не в чем не виноватой,
Сидел один и думал.
Я могу
Часами думать – это мне приятно.

Теперь не выйдет из ума,
Я знал,
Ее первостепенное вещанье –
Так правильна, и так была верна,
И так свободно в мире умещалась

Неисчерпаем вечер был и тих,
Всепоглощающий,
Над прудом патриаршим.
И просто было помнить этот миг,
И трудно быть – бессоннее и старше.

х х х

Я напишу тебе письмо
не потому, что это трудно,
а потому, что такт трубы
и дело не было зимой.

Поскольку очевидец снег,
что ты не прятала ладони,
а он был первый, был во сне,
мультипликации подобен.

Ты поначалу не смогла
связать двух слов — и слава богу,
потом была белым-бела
и все белела до порога.

Поскольку нравилось смотреть
на завиток из-под косынки
и, очутившись во дворе,
губами пробовать морщинки.

Хотя бы потому, что смог
расслышать влажный снежный шорох
и разузнать твой белый город —
я напишу тебе письмо,
когда-нибудь,
допустим, скоро.

х х х

Я думаю не то, что я хочу,
я постоянно путаюсь в предметах,
в объектах. Если, скажем, каланчу
я вижу — думаю о мире ветра.

Я понимаю, ветер по плечу
ей, каланче, — и логике, и смыслу.
Но я о ветре думать не хочу,
хочу о каланче, что вдруг нависла,

вдруг выросла на поле, на таком,
что было во все стороны, и сразу
взяла свое и замшевым замком
притягивала, обещала глазу

ступени из деревьев — тополей,
а слуху — скрип, щекочущий, приятный,
и вид с мостка: по пашне, по земле
прямая тень, а дальше избы — пятна.

О мостике: от праздности на вид,
дождя и солнца, так как без навеса,
был гладким он, а это говорит
о качестве строительного леса.

Теперь о главном: я предполагал
писать об этом этим самым метром,
но очевидней мне тугое лето,
я в поле, это поле, как овал,
и он живет большим лохматым ветром.

х х х

Осенним листьям следует кружить,
и расправлять морщинистое небо,
и, завершив в пространстве виражи,
ложиться навзничь бережно и немо.

Затем им должно затвердить урок
о сущности продуктов эфемерных,
с осадками смешаться равномерно
и набираться силы тихо, мирно,
чтобы из них произошел росток.

Так поступать пристало им судьбой,
однако же резонно их стремленье
откладывать прекрасное паренье
и продлевать, и пестовать мгновенья
ушедшей жизни, начатой весной.

х х х

Звезд железный сухой перестук
и луны порожняя ампула.
В этом доме живет мой друг,
Здесь в окне горит его лампа.

Мне сегодня плохо, мой друг,
белый снег мне не белый снег.
Я пришел к его дому, и вдруг —
нету света в его окне.

Как же так в такую луну,
в эти звезды гасить окно?
Значит, друг мой просто уснул,
значит, все ему все равно.

Мне сегодня не спрятать рук,
я иду домой — мне темно...
Возле дома стоит мой друг —
Друг мой смотрит в мое окно.

Он подходит, колючий еж,
тень его слепит фонари:
Я уж думал, ты не придешь,
где ты бродишь, черт побери?!

1963 г.

ЖАРА. 1972.

Как часовой у склада минного,
Стоит навтыяжку жара,
В Шатуре торф горит, в Калининне
Леса, горят, и мошкара
Горит. Представь, лесные бестии
Горят от малых до больших,
Горят последние известия,
И все, что было после них, —
Горит, в Москву пришла жара,
Дым, чад, ни рос тебе, ни инея,
В Шатуре торф и мошкара,
И лес горит в лесах Калинина.

Жара. Все выжато до донышка.
И в это время надо жить,
Любить жену свою Аленушку,
Стихи писать и водку пить.

Х Х Х

Пока мы давали обеты,
Потом выясняли права,
Прошло наше жаркое лето
И выцвела наша трава.

Настанет, точнее – настало,
Прости, – окончанье пути,
И ворох цветного металла,
Как по ветру ветер пустил.

На просеке бывшего лета,
Где мирные травы цвели,
Два темных вдали силуэта,
Две темные точки вдали.

С полуночи дождь кропотливый,
А в доме не сыщешь огня,
Вот точная ретроспектива
Ближайшего зимнего дня.

Бог с ней, но сегодня едва ли,
Предчувствие ль это, беда,
Мы стали другими, мы стали
Такими, какими мы стали,
Какими мы были всегда.

ПЕСЕНКА ПРО НАС, СЛУЧАЙНЫХ

Мы дойти хотели только до развилки,
до скрещенья неприкаянных дорог.
Только осень нас, случайных, сбила с толку,
порешила все совсем наоборот.

Как сказать ей, чтоб не лезла в наше дело,
чтоб не трогала нехоженой земли.
Только листья замели дорогу влево,
а направо мы бы сами не пошли.

Воздух жидкий. Высь безвкуснее обрата.
День дождливый – моросит и моросит.
Мы бы рады повернуть теперь обратно,
да распутица не пустит, не велит.

ПАМЯТНИК

У радикального народа
на все свой собственный резон,
своя религия, свобода,
на свой порядок – свой закон,

свое живучее упорство
и дуг надбровных трудный грим
хранят рассудка первородство
и крови регулярный ритм.

Такой народ не огоршить,
не подорвать его основ,
неистребима смуглость кожи,
здоровье белое зубов.

Одноименность, полноценность
лбов, жестов, шуток про запас
влагает смысл в его нетленность,
во взгляд на вещи и на нас.

На нас, попарно проходящих
по мерным каменным полам
в его большой кирпичный ящик –
решетчатый надежный храм.

1969 г.

ПРОЩАНИЕ С СОКОЛОМ

Так тоскливо в эту осень
в нашем городе столичном,
очень сильно дуют ветры,
и дожди все время льют.

И случайные все люди,
И вполне закономерно
проживающие где-то
здесь на Соколе у нас

понимают, что не надо
дуться, злиться и толкаться —
надо тихо и серьезно
вдоль по Соколу идти.

И, увидев человека
с темной, круглой бородою
и с красивыми усами,
в парусиновом плаще

и в советских, расклешенных
джинсах, чуть коротковатых,
в старомодной толстой шляпе
или в кепке с козырьком, —

нету смысла веселиться,
хохотать и пальцем тыкать —
смысл имеет поклониться,
потому что он — поэт!

ДОЖДЬ НА ДАЧЕ

Е. Г.

Хочу дождя на даче и огня,
Шуршащих листьев за окном от ветра,
Плетеных кресел и на склоне дня
Пластинок в целофановых конвертах,

Хочу из кружек красного вина
И разговора легкого, смешного, —
Так говорила женщина одна,
Я обещал ей дождь, я дал ей слово...

Затем перрон, лесной массив и дол,
Слова и взгляды — каждый что-то значил...
Я обещал — и к вечеру пошел
Тот самый дождь, и мы сбежали с дачи.

Дождь был украшен хвоей и листвой,
Поспешным сумраком, грибов происхождением,
Коричневой и белой корой,
И красным днем — днем без предназначенья.

Дождь шел на фоне спутницы моей,
Ее походки и ее повадки,
Широкой лентой охватить верней
Волну волос, живущих в беспорядке.

Нам чудились животные вдали,
Скольженье капель в меховой оправе, —
Но этого мы видеть не могли,
Мы в глубь дождя и леса не вдавались.

Мы раздвигали ветви на пути,
Намокший ельник обходили сбоку,
И было хорошо дождю идти,
И хорошо губам любить и мокнуть.

КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Михаилу Соколову

Едва темнеет Керченский пролив,
Зажглись огни, и в сумерках по поясу
С Кавказа в Крым переправляют поезд
Домашние, как утки, корабли.

У насыпи, от свай наискосок,
Вдоль берега со стороны Кавказа
Два мальчика, приналегая разом,
Вытаскивают бредень на песок.

Еще один бежит наперерез,
Пустым ведром весело бряцая,
И тишина, дотоле чуть живая,
Невольно нарушается окрест.

Тем временем, со всех концов видна,
Свободно суть предметов обнажая,
Господствует над местностью большая,
Вполне академичная луна.

На отмели лежит дельфин, вокруг
Ракушечник, кремень остроконечный, —
Мир праху твоему, пловец беспечный,
Мой молодой, невысказанный друг.

Стемнело, но не стоит говорить
О том, что мир сегодняшний — минувший,
И человек, не потерявший душу,
Еще имеет время слезы лить.

XX СЪЕЗДУ И ПОЭТУ Р.

Итак, весна. Конец уединенью —
И наяву, и в долгополом сне,
Готовятся большие измененья
В природе, в государстве и во мне.

Над городом, над теплым, рыхлым паром —
Большие птицы, древние поверья,
Дымятся, как гаванские сигары,
Коричневые влажные деревья.

На мягком небе выложили ветви
Запорошенный синим силуэт.
Весенний ветер весел, но не ветрен,
Весенний воздух светел, но не сед.

Ты встал чуть раньше, ты поставил чайник,
На подоконник влез через кровать.
Весенняя погода так случайна, —
Не торопись окошко открывать.

1967

В НЕТОПЛЕННОМ ДОМЕ...

В нетопленном доме ни звука, — садись и пиши,
Пиши, задыхаясь от слез, для того, чтобы после
Прочсть по слогам, слава богу, вокруг ни души,
Потом повторить по слогам, что прошло твое лето.

В нетопленном доме остывших свечей стеарин,
Забитые ставни плотно прикрытые двери.
И ты с одиночеством снова один на один,
Дели пополам пресловутую горечь утраты.

В нетопленном доме склонись, никого не виня,
Над бездной разлуки, над яблоком в глиняной плошке,
Теперь уж недолго, осталось, считай, два-три дня,
Прощайся с любимой — единственной, бесповоротной.
В нетопленном доме...

ЛЮДИ

Читают книжки, любят гири
подбрасывать, шутить подчас, —
Их много, все они другие,
чем те, что были в прошлый раз,

хотя похожи, я их вижу,
когда куда бы не иду:
дают курить, смеются, дышат,
подметки режут на ходу.

Берут закуски, скажем, к маю,
на случай вспоминают мать, —
так смотрят, так все понимают...
И всех их надо понимать...

ОДИН ИЗ НАС

Золотые друзья мои, дорогие мои современники, соратники мои и собеседники на протяжении слишком долгих, не скупившихся на разномастные события, но все-таки упрямо и гордо прожитых, пережитых лет, выходят ныне — кто из мглы, кто из глухой тьмы — на свет, к людям, выходят, давно отмеченные судьбою, но лишь недавно избавившиеся от гнетущего оцепенения, почти безысходности, выходят с тяжестью созданного ими, выстраданного и тысячекратно выверенного временем — ибо чистой кровью написаны строки, и в ритмах эхом отдается биение пылких сердец, и в слове живет, не сгорает душа.

Леонид Губанов, Саша Соколов, Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Александр Величанский, Вадим Борисов, Леонард Данильцев, Игорь Ворошилов, Александр Морозов, Леонид Коныхов, Владимир Сергиенко, Олег Хмара, Владимир Бойков, Николай Шатров...

Наследники речи, носители духа.

Наконец увидела свет и книга стихов Аркадия Пахомова, и вовсе не самиздатовская, неуклюже отпечатанная на чьей-то машинке, а самая настоящая.

„В такие времена...”, Аркадий Пахомов.

Мы подружились — сразу и навсегда — осенью 1963 года. Через год — осенью 1964-го — дружба наша укрепилась.

Две незабвенные осени! Что за пора, что за музыка! Вглядываться в пространство, вспомнить — и не вернуть...

На литобъединении филфака МГУ, в университетском дворике на Моховой, именуемом „психодромом”, в квартирах, в мастерских, да и просто на улице, среди гула, кружения листьев и голубей, тогда бесконечно и радостно встречались, говорили, спорили, читали друг другу стихи и прозу, делились новостями, мечтали, влюблялись, тяготились предчувствиями, изумлялись открытиям, так и не успевшие надышаться хотя бы подобием воздуха.

Аркадий уже удивлял, потому что артистичность свою ощутил в полной мере, благо почва для таковой была подходящей, — в ходу у нас тогда были шутки, остроты, каламбуры, розыгрыши, чудесный театр поведения воспринимался как закономерность, приключения становились традицией, поступок был не блефом, но правдой сердца; энергия выплескивалась из нас, ее не убывало, понимание причастности к поэзии лишь прозревалось нами.

Январь 1965-го — это уже СМОГ, принесший и славу, и забвение, СМОГ — школа, ристалище, испытание на прочность. СМОГ, наше детище, клеймо, мучение и торжество. Что было с каждым из нас? Что было — было, было — да не сплыло.

Расшифровка названия проста: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Прижилось и другое толкование аббревиатуры — Самое Молодое Общество Гениев, — предложенное кем-то на предмет эпатажа и сразу пришедшееся по душу передовой молодежи середины 60-х — неугомонным российским читателям и слушателям стихов, завсегдатаям поэтических вечеров, запоминавшим тексты с голоса и переписывавшим их в свои тетрадки (что, если припомнить суждение Максимилиана Волошина, само по себе уже почетно для поэта).

„Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных“, — сказано в 145-м Псалме.

Посмотрим же в будущее — оттуда, из молодой, благословенной нашей поры.

Аркадия Пахомова жизнь помотает без всякой пощады, основательно, обстоятельно. Филфак МГУ придется оставить. Вместе со мной и Михаилом Соколовым он окажется в археологической экспедиции на Тамани, будет ездить по Крыму, бродить пешком по берегам Черноморья и Азова, записывать на клочках бумаги своим птичьим почерком — будто бы на измятый листок из школьной тетрадки всякий раз выпускать певчую птицу с ладони — стихи, в которых плещется море и сгущаются грозы грядущего, будет постигать науку выживания и надежды.

И это станет самым началом путешествий, экспедиций, побегов от удушья, от тоски — подальше, туда, где можно дышать, — Юг ли, Север ли, Сибирь ли, Азия ли — да не все ли равно, там простор, там воля!..

С годами пойдут более „оседлые“ работы вроде традиционной сторожевой или суточного дежурства в бойлерной или малолитам чего! — важно, чтобы числиться, чтобы отбыть, — все равно ведь, как ни крути, нищета, да хандра, да незримые окопы, да дышать тяжело, а надо, брат...

Мы, СМОГ, то есть покойный Леонид Губанов и ныне живущие Юрий Кублановский, Саша Соколов, Аркадий Пахомов и я, строки эти о старинном друге моем Пахомове пишу-щий, — все сие ведаем.

Чем по-настоящему и жили всегда мы — это поэзией, коли и была настоящая работа — это наше творчество, и работали

мы всегда так, как надо, и есть с чем прийти к людям, и — оставшиеся четверо живых — продолжаем работать.

Его стихи, внешне сдержанные, на первый взгляд очень традиционные, без всякого поверхностного авангардизма, — словом, привычные вроде для искушенного читательского глаза стихи, — так вот, его, Пахомова стихи, замечательные, скажу прямо, стихи, таят в себе внутреннюю взрывчатость, динамику, неожиданные речевые тонкости и повороты, свидетельствующие о высоком уровне мастерства — если это определение вообще применимо к поэзии.

Его защитная ирония, соединенная с детской доверчивостью, с изумлением ребенка, впервые постигающего мир природы, мир человеческих чувств, да просто Космос, если на то пошло, — дает удивительный, право, результат.

Он тяготеет к формуле, выражающей состояние.

Рисунок его фразы скуп, в нем больше углов и граней, чем окружностей и плавных линий.

Философская подоплека его лирики непосредственно связана с конкретной, непридуманной, сугубо реальной жизнью, с ее метаморфозами и метафорами.

Что же касается давно развитой поэтики, то и с этим дело обстоит фантастически просто: Пахомов как бы между прочим, ненавязчиво, без игры в мэтра и всякой псевдомногозначительности относительно собственной персоны породил целую школу, никогда никого и не думая брать к себе в ученики, но зато более молодые его последователи, взявшие, перехватившие по странной эстафете и манеру письма, и сразу узнаваемую интонацию, и, что крайне важно, — тон, хорошо знают, кому и чем они обязаны.

„В такие времена...”

„Наконец-то, любезный Чаадаев, в моих руках прекрасный подарок, вручаемый мне вашей дружбой”, — восклицал Тютчев в одном из своих писем.

Нечто подобное хотелось бы сказать и мне.

Наконец-то книга Аркадия Пахомова увидела свет.

СОДЕРЖАНИЕ

Дом	3
Дорога	4
„Допоздна не уснуть, допоздна...“	5
„Любимая, в такие времена...“	6
Прохожий	7
Веселая ночь	8
„Ты вся еще в черновике...“	10
„Избавь себя от заблужденья...“	11
Письмо	12
Флоксы	14
Фрагмент из поэмы „ПУГАЧЕВ“	16
Творчество на кухне	20
Крым	21
Терем	22
Керчь	23
Шторм	24
Черному морю	25
„Скажи, как предлагаешь...“	26
Азия	27
Барса-кельмес	28
Похороны новогодней елки	29
Крещенские морозы	30
Три стихотворения о Печерском монастыре	31
„Не рад тебя увидеть...“	36
„Продумал, прогадал, проведаль...“	37
Ленивый март	38
„В тысяча девятьсот семьдесят втором году...“	40
„Я еду к бабушке...“	41
Волосы	42
Вологодские стихи	43
„А когда катерок прислонился к причалу...“	44
Городу Ленинграду, в который уехала любимая и что-то долго не возвращается	47
Портрет Э.	48
„Как взбитое как следует яйцо...“	49
„Каждой птице закон разрешил полушар...“	50
Дождь	51
Ротозей Фома	52

„Мой товарищ так болен...”	54
Шаланда	55
Кавказ	56
Рондель I	57
Рондель II	58
В кафе	59
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О БОЛЬНИЦЕ	60
Временем тем	63
„Опоздавший к листопаду...”	64
Башня	65
„Неординарный гений, человек...”	66
Песенка	67
„Наклоном головы, глазами...”	68
„С обратной стороны дождя...”	69
Багульник	70
Ночь в пути	71
„Самосвалы, снегоочистители...”	72
„Ты поймешь в октябре...”	73
„Закутан в плащ, я знаю...”	74
Батум—Гурзуф	75
Расставание перед встречей Нового года	76
„За ложь проклятую, за ужас...”	77
„Пропала осень без зазренья...”	78
Прибалтийские стихи	79
„Невозмутима гладь твоих...”	80
„Кончался май сегодня...”	81
„Я разучился различать тебя...”	82
„Какая нынче, Господи, весна...”	83
Неконкретно о луне и о расставании	84
„Я напишу тебе письмо...”	85
„Я думаю не то, что я хочу...”	86
„Осенним листьям следует кружить...”	87
„Звезд железных сухой перестук...”	88
Жара. 1972	89
„Пока мы давали обеты...”	90
Песенка про нас, случайных	91
Памятник	92
Прощание с Соколом	93
Дождь на даче	94
Керченский пролив	95
XX съезду и поэту Р.	96
В нетопленном доме	97
Люди	98
В. Алейников. Один из нас	99

Аркадий Дмитриевич Пахомов

В такие времена

Книга стихов

Художник Станислав Исаев

Редактор Л. Е. Данильцев
Художественный редактор Г. И. Максименков
Корректор М. Н. Дронова
Мл. редактор Л. Ю. Хритина

Сдано в набор 11.07.89
Формат 84x108 1/32
Тираж 3000

Подписано к печати 3.10.89
Усл. печ. л. 3,25
Зак. 205.

Л-48487
Печать офсетная
Цена 2 руб.

Издательство „Прометей” МГПИ им. В. И. Ленина
Литературно-художественное агентство „ТОЗА”
119048, Москва, ул. Усачева, 64